



אשכולות
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru

при поддержке

אבי אבי
הי שחא

НА ГРАНИ СНА И БЕЗУМИЯ

МИР ОБРАЗОВ БРУНО ШУЛЬЦА



Материалы к лекции
Элиэзера Лесового (Израиль)

Москва
январь 2013 г.
проект "Эшколот"
www.eshkolot.ru

БРУНО ШУЛЬЦ. ОТРЫВКИ ИЗ КНИГ (пер. Асара Эппеля)

1. «КОРИЧНЫЕ ЛАВКИ», МАНЕКЕНЫ

Преданный всеми отец без борьбы покинул позицию недавней славы. Не скрестив шпаг, дал врагу попать былое свое великолепие. Добровольный изгнанник, удалился он в пустовавшую в коридорном конце комнату и окопался там одиночеством.

Мы о нем забыли.

Снова со всех сторон обложила нас печальная серость города, зацветающая в окнах темным лишаем рассветов, паразитирующим грибом сумерек, разраставшимся в густой мех долгих зимних ночей. Комнатные обои, еще недавно блаженно безмятежные и доступные многоцветным полетам крылатой оравы, опять замкнулись в себе и сгустились, путаясь в монотонности горьких монологов.

Лампы увяли и почернели, как старый чертополох или репы. Теперь они свисали осовелые и брюзгливые и если кто-нибудь на ощупь пробирался сквозь серые сумерки комнат, тихо позванивали кристалликами висюлек. Напрасно Аделя воткнула во все рожки цветные свечи, беспомощный суррогат, бледное воспоминание пышных иллюминаций, какими цвели недавно висячие эти сады. Ах! Куда же подевалось щебечущее почкование, плодоношение, поспешное и небывалое в букетах ламп этих, из которых, как из взрывающихся волшебных тортов, выпархивали крылатые фантазмагории, дробя воздух талиями магических карт, осыпая их цветными аплодисментами, сыплющимися сплошной чешуей лазури, павлиньей, попугайной зелени, металлическими отблесками, прочерчивая в воздухе линии и арабески, мерцающие следы полетов и кружений, распахивая цветные веера трепета, долго потом не исчезающие из богатого и блистающего воздуха. И сейчас еще они пребывали сокрытыми в глубинах потускневшего настроения, отголоски и возможности цветных вспышек, но никто уже не насверливал флейтой, не исследовал буравами помутневших сосудов воздуха.

Долгие недели проходили в странной сонливости.

Кровати, по целым дням незасланные, заваленные постелью, скомканной и залежанной в тяжелых снах, стояли, точно глубокие лодки, готовые отплыть в мокрые и путаные лабиринты какой-то черной беззвездной Венеции. В глухую пору рассвета Аделя приносила кофе. При свече, многократно отраженной в стеклах окон, мы лениво одевались в холодных комнатах. Утра были полны беспорядочной суетни, медлительных копаний во всевозможных ящиках и шкафах. По всей квартире было слышать шлепанье Аделиных туфель. Приказчики зажигали фонари, брали из рук матери большие лавочные ключи и уходили в густую коловращающуюся темень. Мать

никак не могла управиться со своим туалетом. Свечи догорали в подсвечнике. Аделя пропадала в каких-то отдаленных комнатах или на чердаке, где развешивала белье. Ее было не дозваться. Молодой еще, темный и грязный огонь печи лизал холодные блестящие слои сажи в дымоходной гортани. Свеча гасла, комната погружалась во тьму. Уронив головы на скатерть, мы засыпали полуодетые среди остатков завтрака и, уткнувшись лицами в меховой живот мрака, уплывали на его волнообразном дыхании в беззвездное несуществование. Будила нас шумная уборка Адели. Мать все еще не могла совладать с туалетом. Когда она заканчивала причесываться, приказчики возвращались обедать. Тьма на площади принимала цвет золотистого дыма. Спустился малое время из этих дымных медов, из тусклых этих янтарей могли получиться краски великолепного дня. Но подходящий миг проходил, амальгама рассвета отцветала, дрожжи дня, совсем было взошедшие, снова опадали в худосочную серость. Мы усаживались за стол, приказчики потирали красные, озябшие руки, и проза их разговоров внезапно приводила готовый день, безликий и без традиции. Но когда появлялось на столе блюдо с рыбой в стеклянном заливном – две большие рыбины, словно зодиакальная фигура, лежавшие рядом голова к хвосту, – мы опознавали в них герб проживаемого дня, календарную эмблему безымянного вторника, и торопливо полосовали ее, довольные, что день обрел в ней новую суть.

Приказчики поедали сей символ с благоговением, со значительностью календарной церемонии. Запах перца расточался по комнате. И когда мы подбирали булкой остатки желе с тарелок, мысленно обдумывая геральдику грядущих дней недели, а на блюде оставались только головы с вываренными глазами – всех охватывало чувство, что день общими усилиями побежден и все остальное не следует принимать в расчет.

2. «КОРИЧНЫЕ ЛАВКИ». ТРАКТАТ О МАНЕКЕНАХ, ИЛИ ВТОРАЯ КНИГА РОДА

– У демиурга, – говорил отец, – не было монополии на творение. Оно привилегия всех духов. Материи дана нескончаемая жизненная сила и прельстительная власть искушения, соблазняющая на формотворчество. В глубинах ее образуются неотчетливые улыбки, створаживаются напряжения, сгущаются попытки образов. Материя дышит бесконечными возможностями, которые пронизывают ее неясными содроганиями. Ожидая животворного дуновения духа, она бесконечно переливается сама в себе, искушает тысячами округлостей и мягкостей, каковые вымерещивает из себя в слепоглазых грезах.

Лишенная собственной инициативы, сладострастно податливая, по-женски пластичная, доступная всякого рода побуждениям, она являет собой сферу, свободную от закона, предрасположенную ко всяческому шарлатанству и дилетантизму, поле для всевозможных злоупотреблений и сомнительных демиургических манипуляций. Материя – пассивнейшее и беззащитнейшее существо в космосе. Всякому позволено ее мять, формовать, всякому она послушна. Любые структуры ее нестойки, хрупки и легко доступны регрессу и распадению. Нет ничего худого в редукции жизни к формам иным и новым. Убийство не есть грех. Оно иногда оказывается неизбежным насилием над строптивыми и окостенелыми формами бытия, которые теряют привлекательность. Ради занимательного и солидного эксперимента убийство даже можно считать заслугой.

(...)

Девушки сидели замерев, лампа коптила, сукно под иглой машинки давно съехало, и машинка стучала впустую, строча черное беззвездное сукно, отматывающееся от штуки законной зимней ночи.

– Слишком долго терроризировало нас недостижимое совершенство демиурга, – говорил мой отец, – слишком долго совершенство его творения парализовало наше собственное творчество. Мы не намерены конкурировать. У нас нет амбиций сравняться с ним. Мы желаем быть творцами в собственной – заштатной сфере, взыскуем творчества для себя, взыскуем творческого восторга, одним словом, жаждем демиургии.

Не знаю, от чьего имени провозглашал отец свои постулаты, какая группировка, какая корпорация, секта или орден придавали своей солидарностью пафос его словам. Что касается нас – мы были далеки от любых демиургических покусительств.

Меж тем отец изложил программу теневой этой демиургии – образ второго поколения творений, – каковая была призвана стать открытой оппозицией господствующей эпохе. – Нас не интересуют, – говорил он, – создания с долгим дыханием, существа долгосрочные. Наши креатуры не станут героями многотомных романов. Роли их будут коротки, лапидарны; характеры – без расчета на будущность. Порой, ради един-

ственного жеста, ради единственного слова, мы не пожалеем усилий, дабы вызвать их на короткое мгновение к жизни. Признаемся же, что не станем делать упор на долговечность и добротность исполнения, наши создания будут как бы временны, как бы разового пользования. Если ими будут люди, мы наделим их, к примеру, лишь одной стороной лица, одной рукой, одной ногой, тою, разумеется, какая необходима для предназначенной роли. Будет педантизмом озаботиться другою, не входящей в замысел, ногой. С тыльной стороны можно просто зашить полотном или побелить. Амбиции же наши сформулируем в следующем гордом девизе: всякому жесту – свой актер. Для обслуживания каждого слова, каждого поступка мы вызовем к жизни нового человека. Такое нас устраивает, и таким он будет, мир по нашему вкусу. Демиург возлюбил изощренные, безупречные и сложные материалы – мы отдаем предпочтение дешевке. Нас попросту увлекает и восхищает базарность, убожество, расхожесть материала. Постигаете ли вы, – вопрошал мой отец, – глубокий смысл сей слабости, сей страсти к папье-маше, пестрой бумажке, лакированию, пакле и опилкам? Это же, – продолжал он с горькой усмешкой, – наша любовь к материи как таковой, к ее пушистости и пористости, к ее единственной мистической консистенции. Демиургос – великий мастер и художник – делает ее неприметной, повелевает исчезнуть под игрой жизни. Мы, напротив, любим ее диссонанс, ее неподатливость, ее чучельную неуклюжесть. Любим в каждом жесте, в каждом движении видеть ее грузное усилие, ее инертность, ее сладостную медвежеватость.

Девушки сидели неподвижно со стеклянными взглядами. Лица их были вытянуты и оглулены поглощенностью, на щеках выступили красные пятна. Понять, относятся они к первой или второй генерации творения, было сложно.

– Словом, – заключал отец, – мы намерены сотворить человека повторно, по образу и подобию манекена.

3. РАССКАЗ «КОРИЧНЫЕ ЛАВКИ» (ОТРЫВКИ)

...Небеса, словно бы в нескольких анатомических препаратах, обнажали в тот день свое внутреннее устройство, обнаруживая спирали и слои света, сечения сияющих зеленых глыб ночи, плазму пространств, вещество ночных наваждений.

В такую ночь невозможно идти Подвальем или другой какой темной улицей, то есть изнанкой или как бы подполейкой четырех сторон площади, и не вспомнить, что в столь поздний час иногда еще открыты некоторые из престранных и ужасно заманчивых магазинчиков, о которых в обычные дни и не вспоминаешь. Я именую их коричневыми лавками из-за темных деревянных панелей цвета корицы, которыми обшиты стены.

К этим и в самом деле благородным торговлям, открытым допоздна, меня всегда горячо и неудержимо тянуло.

Тускло освещенные, темные и торжественные их помещения пахли глубоким запахом красок, благовоний, лака, ароматом неведомых стран и редкостных материй. Тут можно было найти бенгальские огни, волшебные шкатулки, марки давно запропастившихся государств, китайские переводные картинки, индиго, малабарскую канифоль, живых саламандр и василисков, яйца экзотических насекомых, попугаев, туканов, корень Мандрагоры, нюрнбергские механизмы, гомункулов в цветочных горшках, микроскопы, подзорные трубы и, конечно же, редкие и особенные книжки – старинные фолианты с превосходными гравюрами и удивительными историями.

Помню старых степенных купцов, преисполненных мудрости и понимания самых сокровенных пожеланий клиента, обслуживавших гостя не поднимая глаз и в тактичном молчании. Главное же, была там книжная лавка, где однажды, совлекая покровы с тайн мучительных и упоительных, я разглядывал редкие и запретные издания тайных клубов.

(...)

Подстегиваемый желанием побывать в коричневых лавках, я свернул в известную мне улицу и скорее летел, чем шел, следя, однако, за тем, чтобы не сбиться с дороги. Я миновал уже третий или четвертый перекресток, а заветной улицы все не было. Ко всему еще и расположение улиц не соответствовало ожидаемому. Лавок было не видеть. Я оказался на тротуаре с домами сплошь без подъездов, только плотно затворенные окна лепли отблеском месяца. Нужная мне улица, откуда эти дома доступны, вероятно, расположена по другую их сторону, решил я и, тревожно ускоряя шаги, раздумал заходить в лавки. Только бы скорее выбраться в знакомые кварталы. Я приближался к уличному завершению, не представляя, куда оно меня выведет, и оказался на широком, негусто застроенном тракте, весьма долгим и прямом. На меня тотчас пахнуло дыханием открытого пространства. Здесь вдоль улицы или в глубине садов стояли живописные виллы, нарядные дома богатых людей. Усадьбы перемежались парками и стенами фруктовых садов. Это отдаленно напоминало Лешнянскую улицу в ее нижнем и редко посещаемом конце. Лунный свет, распыленный в

тысячах агнцев и в серебряных небесных чешуях, был бледен и светел, словно бы вокруг стоял белый день, и в серебряном этом пейзаже чернелись только парки и сады.

Внимательно приглядевшись к одной из построек, я решил, что передо мною тыльный, прежде неизвестный мне фасад гимназии. Меж тем я оказался у подъезда, который, к удивлению моему, был отворен и освещен внутри. Я вошел и очутился на красной дорожке коридора. Я полагал, что исхитрюсь пробраться незамеченным насквозь через здание и выйти через парадный вход, прекраснейшим образом сократив себе дорогу.

Тут вспомнил я, что в поздний этот час в классе учителя Арендта идет один из тех дополнительных уроков, устраиваемых чуть ли не ночью, на которые мы сходились в зимнюю пору, движимые благородным рвением к рисованию, каковое пробудил в нас отменный педагог.

(...)

Я сбежал по каменным ступенькам и оказался на улице...

На улице чернелись несколько пролетов, кособоких и разболтанных, схожих с увечными сонными крабами или тараканами. Возница склонился с высоких козел. Лицо его было небольшое, красное и добродушное. – Поехали, паныч? – спросил он. Пролетка шевельнула всеми вертлюгами и суставами членистого тулова, и тронулась на легком ходу.

Но кто в такую ночь доверяется капризам непредсказуемого извозчика? Тарахтенье спиц, громыханье кузова и поднятого верха мешали сговориться насчет дороги. Он кивал на все со снисходительной небрежностью и что-то напевал, избрав кружной путь по городу.

Возле какого-то трактира толпились извозчики, дружелюбно подававшие ему знаки. Он радостно ответил, а затем, не придержав пролетки, бросил мне на колени вожжи, слез с козел и присоединился к толпе сотоварищей. Конь, старый умный извозчиный конь на шагу оглянулся и побежал дальше мерной извозчиной рысью. Конь как раз доверие вызывал – он был явно сообразительней возницы. Поскольку я не умел править, оставалось положиться только на него. Мы въехали в улицу предместья, по обе стороны окаймленную садами. Сады, пока мы ехали, постепенно становились высокоствольными парками, а те – лесами.

Никогда не забуду сияющей этой поездки в светлейшую из зимних ночей. Цветная карта небес выростала непомерным куполом, на котором громоздились фантастические материки, океаны и моря, изрисованные линиями звездных водоворотов и струений – сияющими линиями небесной географии. Воздух сделался легкий для дыхания и сиял серебристыми газовыми вуалями. Пахло фиалками. Из-под шерстяного, словно белый каракуль, снега глядели трепетные анемоны с искрою лунного света в изящных своих рюмочках. Лес целый, казалось, был рассвечен тысячами светилен, звездами, густо роняемыми декабрьским небосводом. Воздух дышал некоей

НА ГРАНИ СНА И БЕЗУМИЯ

таинственной весной, неизреченной чистотой снежного и фиалкового. Мы въехали в холмистую местность. Очертания взгорий, мохнатых нагими розгами деревьев, возносились, как блаженное вздыхание, к небу. Я увидел на этих благодатных склонах целые толпы путников, собирающих во мху и кустарниках упавшие и мокрые от снега звезды. Дорога стала крутой, конь оскальзывался и с трудом тянул экипаж, дребезжавший всеми суставами. Я был счастлив, грудь моя вбирала блаженную весну воздуха, свежесть звезд и снега. Перед конской же грудью сбивался вал снежной пены, делавшийся все выше. Конь с трудом преодолевал чистую и свежую его массу, пока, наконец, не остановился. Я вышел из пролетки. Он тяжело дышал, понурил голову. Я прижал эту голову к груди – в больших черных глазах его сияли слезы. Тут заметил я на его животе круглую черную рану. – Отчего ты не сказал мне? – шепнул я в слезах. – Милый мой, она ради тебя, – молвил он и сделался совсем маленький, точь-в-точь деревянная лошадка. Я покинул его. Я чувствовал себя на удивление легким и счастливым. Некоторое время я раздумывал, ждать ли местную узкоколейку, проходившую здесь, или вернуться в город пешком. Я стал спускаться по крутому серпантину сквозь леса, сперва идучи шагом легким и пружинистым, затем, набирая ход, перешел на плавный радостный бег, который вскоре превратился в скольжение, подобное лыжному. Я мог по желанию менять скорость, воздействуя на движение легкими поворотами тела.

Вблизи города я свой триумфальный бег придержал, перейдя на подобающий прогулочный шаг. Месяц все еще стоял высоко. Преображения небес, метаморфозы их многократных сводов во всё более искуснейшие конфигурации были бесконечны. Точно серебряная астроябля отворяло небо в ту колдовскую ночь механизм нутра своего и обнаруживало в нескончаемых эволюциях золоченую математику шестерен и колес.

На городской площади я встретил гуляющих. Зачарованные зрелищем ночи, все шли, запрокинув лица, серебряные от магии небес. История с портмоне меня больше не волновала. Отец, поглощенный своими чудачествами, наверняка забыл о пропаже, за мать я не беспокоился.

В такую ночь, единственную в году, приходят счастливые мысли и наития, человека касается вещий перст Божий. Полный замыслов и наваждений, я направился было к дому, но навстречу попались товарищи с книгами под мышкой. Слишком рано вышли они в школу, пробужденные ясностью ночи этой, которая не собиралась кончаться.

Мы всею гурьбой отправились гулять по круто спускавшейся улице, веявшей дуновением фиалок, и не могли взять в толк, магия ли ночи осеребрила снег, или уже светает...

4. ИЗ КНИГИ «САНАТОРИЯ ПОД КЛЕПСИДРОЙ»

Однажды я проснулся темным зимним утром – под завалами тьмы совсем низко горела хмурая заря – и, сохраняя еще под веками мельтешенье смутных фигур и знаков, стал бредить неотчетливо и причудливо, удручаться и тщетно горевать о старой пропавшей Книге.

Никто не понимал меня, и, раздосадованный такой бестолковостью, я принялся нетерпеливо клянчить, лихорадочно и настырно приставая к родителям.

Босой, в рубашке, дрожа от возбуждения, я наскоро перевероршил библиотеку отца и, взвинченный, сердитый, беспомощно описывал изумленной аудитории то, чего не описать, что никаким словом, никакой картинкой, нарисованной дрожащим и длинным пальцем моим, было непередаваемо. Я изводился в бесконечных реляциях, путаных и противоречивых, и плакал от бессильного отчаяния.

Они стояли надо мной, беспомощные и растерянные, смущенные своим бессилием. В глубине души они знали за собой вину. Моя дерзость, нетерпеливый, требовательный и гневный тон создавали видимость правоты, превосходство вполне обоснованной претензии. Они прибежали с разными книжками и совали их мне в руки. Я с возмущением отталкивал.

Одну – толстый и тяжелый фолиант – отец с робким прихотчиванием подсовывал снова и снова. Я открыл ее. Это была Библия. Я увидел на картинках великое странствие животных, плывущее по трактам, растекающееся шествиями по далекой стране, увидел небо, все в птичьих ключах и шуме крыл, огромную перевернутую пирамиду, далекая вершина которой достигала Ковчега.

Я поднял на отца глаза, полные упрека: – Ты знаешь, отец, – кричал я, – ты хорошо знаешь, не скрывай, не увиливай! Зачем ты принес порченный апокриф, тысячную копию, бездарную подделку? Куда ты девал Книгу?

Отец отвел глаза.

(...)

В некий день той зимы я застал Аделю за уборкой, со шваброй в руках опершуюся на крышку конторки, где лежала драная какая-то книжка. Я заглянул через плечо Адели не столько из любопытства, сколько затем, чтобы снова одурманиться запахом ее тела, молодые чары которого открылись недавно проснувшимся моим чувствам.

– Гляди, – сказала она, без протеста снося мои прижимания, – возможно ли, чтобы волосы росли до земли? Мне бы такие.

Я глянул на картинку. На большом листе in folio была изображена женщина с формами скорее мощными и приземистыми, с лицом энергичным и умудренным. С головы этой дамы ниспадала огромная мантия волос, тяжело скатываясь со спины и влача концами толстых косиц по земле. Это был какой-то неправдоподобный фокус

НА ГРАНИ СНА И БЕЗУМИЯ

природы, покров волнистый и щедрый, берущий начало от самых корней, и трудно было представить, что таковая тяжесть не доставляет ощутимой боли и не сковывает отягощенной головы. Но хозяйка сего роскошества несла его, казалось, с гордостью, а текст, жирным шрифтом напечатанный рядом, излагал историю чуда и начинался словами: «Я, Анна Чилляг, родом из Карлович в Моравии, имела слабый волосяной покров...»

Это была длинная история, по схеме схожая с историей Иова. Божьим попусением Анна Чилляг отличалась слабой волосистостью. Весь городок сочувствовал напасти, которую ей прощали, ибо принималась во внимание ее безупречная жизнь, хотя совсем без причины такое тоже не бывает. И вот благодаря жарким молитвам с головы ее снято было проклятие, Анна Чилляг сподобилась благодати познания, получила знамения и указания и приготовила препарат, снадобье чудесное, каковое вернуло ее голове урожайность. Она стала обрастать волосами, но этим дело не ограничилось. Муж ее, братья, кузены с каждым днем тоже оплюшивались тучным мехом растительности. На другой странице Анна Чилляг была показана через шесть недель после откровения ей рецепта в окружении братьев, свояков и племянников – мужей, бородатых по пояс и усатых, и можно было только удивиться зримой этой вспышке неподдельной медвежьей мужественности. Анна Чилляг осчастливила весь городишко, на каковой снизошла истинная благодать в образе шевелюр волнистых и грив громадных и коего жители мели землю бородами, широкими, точно метлы. Анна Чилляг стала апостольшей косматости. Осчастливив родимое гнездо, она возжаждала осчастливить целый мир и просила, приохочивала, умоляла каждого принять во спасение сей дар Божий, сей эликсир чудесный, коего лишь она одна знала тайну.

Эту историю я прочитал через плечо Адели, и внезапно пронзила меня и охватила огнем невероятная мысль. Это же была Книга, ее последние страницы, ее неофициальное приложение, тыльный флигель, набитый мусором и рухлядью! Фрагменты радуги завертелись в мелькающих обоях, я вырвал из рук Адели растрепанные страницы и, не владея собственным голосом, выдохнул: – Где ты взяла эту книжку?

– Дурачок, – сказала она, пожав плечами, – она же тут всегда лежит, и каждый день мы выдираем из нее листки – мясо из лавки и отцу завтрак заворачивать...

(...)

Так шли мы под возраставшей лунной гравитацией. Отец и господин фотограф взяли меня под руки, ибо я валился с ног от невероятной сонливости. Шаги наши хрустели в мокром песке. Я уже давно спал на ходу, собрав под веками всю фосфоресценцию небес, полную светящихся знаков, сигналов и звездных феноменов, когда мы, наконец, остановились в чистом поле. Отец постелил на землю пальто и уложил меня. Я видел, закрыв глаза, как солнце, луна и одиннадцать звезд, дефилируя передо мной, устроили парад в небе. – Bravo, Иосиф! – воскликнул отец и одобритительно хлопнул в ладоши. Это был очевидный плагиат, совершенный по отношению к другому Иосифу и вообще в приложении к иным обстоятельствам. Никто за это меня не упрекнул. Отец мой, Иаков, кивал головой и цокал языком, а господин фотограф установил на

МИР ОБРАЗОВ БРУНО ШУЛЬЦА

песке треногу, раздвинул, как гармонию, мех аппарата, и целиком исчез в складках черного сукна: он фотографировал редкостное явление, сверкающий этот гороскоп в небе, покуда я, с головой, плывущей в сиянии, восхищенный лежал на пальто и бес- сильно удерживал сон для фотоэкспозиции.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



אשכולות
КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru

при поддержке

